

во французской провинции — послѣ Парижа — затѣмъ въ Швейцаріи, гдѣ «Ева» родилась и гдѣ съ необычайной стойкостью они переносятъ униженія и бѣдность. Вообще оба они деликатны, умны и благородны, можетъ-быть, черезчуръ сдержаны и скрытны, что ведетъ ко взаимному непониманію. Впоследствии оказывается, что жена не хотѣла жертвѣ, которая мужемъ принесли, что она не любила его и въ свою очередь жертвовала собою. Они расходятся, «Ева» выходитъ замужъ за другого, и самое убѣдительное у Шардонна — то спокойствіе опустошенности, съ какимъ принимается мужемъ ея уходить, мужемъ, котораго прежде такъ задѣвала малѣйшая перемена настроеній, малѣйшій ея капризъ.

Въ романѣ удивительное «единство тона», фраза эмоциональна, своеобразна и сгущенно-содержательна, нѣтъ лишнихъ, отвлекающихъ отъ главнаго, разговоровъ, поступковъ и дѣйствующихъ лицъ, есть только это «главное», и оно сильнѣе захватываетъ, отъ него труднѣе оторваться, чѣмъ отъ любой книги съ внѣшне-увлекательнымъ сюжетомъ.

Сейчасъ имѣются писатели, иногда съ громкими именами—среди нихъ Моруа и Лякретель — которыхъ можно было бы обвинить въ какомъ-то «разжиженіи», сниженіи Прустовскихъ темъ и Прустовскаго тона. Жакъ Шардоннъ, несомнѣнно близкій этому направленію и менѣе, чѣмъ, напримѣръ, Моруа, знаменитый, достойнѣе и самостоятельнѣе другихъ.

Ю. Ф.

А. Бѣлый. На рубежѣ двухъ столѣтій. Из-во Земля и Фабрика. Москва-Ленинградъ 1930.

Одна изъ послѣднихъ новинокъ въ литературѣ мемуаровъ, — книга Андрея Бѣлаго «На рубежѣ двухъ столѣтій», массивнѣйшее преддверіе къ «Воспоминаніямъ о А. А. [Блокѣ],¹⁾ которая нѣсколько лѣтъ назадъ печаталась въ берлинскихъ альманахахъ «Эпопея».

Въ ней реальнѣйшее и — хотя и очень субъективное — но очень точное описание быта и обстановки, въ которыхъ протекало дѣтство (и даже младенчество!) автора, его гимназическая пора и первые годы университета; въ ней-же весьма цѣнный объяснительный комментарий къ «Котику Летаеву», къ «Крещенному Китайцу», ко всей серіи этихъ романовъ, гдѣ въ различныхъ интонаціяхъ, но всегда «въ одномъ ключѣ» описывалъ Бѣлый отрочество героя, профессорскую квартиру на Арбатѣ, чудака-отца..., въ ней сплошь портреты людей, о которыхъ мы столько уже слышали. Это памятникъ интеллигентской Москвѣ 80-90-хъ годовъ («Книга эта посвящена зарисовкѣ не личностей, а социальной среды конца вѣка», подчеркиваетъ Бѣлый), но вмѣстѣ съ тѣмъ каждая страница этой книги заключаетъ въ себѣ крупницу того «grand art», которое одно только отличаетъ подлинное произведеніе искусства отъ всяческихъ поддѣлокъ. Что-же это публицистика или художество?

1) Въ новой и расширенной редакціи книга названа уже «Начало Вѣка». Даже текстъ, напечатанный въ «Эпопеѣ» сразу переросъ свое ограничительное заглавіе.

Въ своемъ дневникѣ, въ «Синей Книгѣ» З. Н. Гиппиусъ оброну крылатое слово. «Бѣлый — гениальное, лысое, неосмысленное дитя...» пишетъ она въ 1917 году. Въ этой лаконической, злой и очень умной фразѣ много правды. «Гениальное» — вѣроятно. «Дитя» — несомнѣнно... Андрей Бѣлый — большой поэтъ, философъ, романистъ, мистикъ-штейнеріанецъ, послѣдователь Владиміра Соловьева, «аргонавтъ», бывший на гребнѣ волны, внесшей символизмъ въ русскую жизнь, «изгрызающей» Канта, Гете, Шопенгауэра, штудирующей «Теорію Индуктивныхъ Наукъ», ведущій многорѣчивые споры о монадологіи Лейбница или о вихревомъ строеніи вселенной — всегда остается немного дитятей. Это теперь особенно ясно сквозитъ со страницъ «Рубежа Вѣковъ». Какая-то безотвѣтственность и дѣтская непосредственность впечатлѣній и переживаній не измѣнились съ годами. Опытъ прошедшихъ лѣтъ едва ли для Бѣлаго оказался рѣшительнымъ. Онъ неизмѣнно витаетъ внѣ этого или надъ этимъ. Слишкомъ опасенъ пока еще вопросъ, есть ли въ такомъ положеніи его преимущество передъ остальными или въ немъ заключенъ тяжелый его грѣхъ передъ Россіей. Но чтобы понять и оцѣнить Бѣлаго, съ самимъ фактомъ нельзя не считаться.

Да, Бѣлый 900-хъ годовъ, неизвѣстный еще авторъ «Симфоній» и Бѣлый 1930-го года, пишущій свои мемуары — едины; это люди одной психологіи, одного умозрѣнія, одного жеста. Бѣлый, несомнѣнно, изъ тѣхъ дѣтей рубежа, которыя не смогли перейти въ начало новаго вѣка, не сказавъ «нѣтъ» этому вѣку. Этого онъ никогда не забудетъ. Но можетъ-быть вся «неувязка» Бѣлаго

и его ближайшихъ спутниковъ въ томъ, что въ самый моментъ этого «нѣтъ» у него не было еще осознанныхъ словъ, чтобы увѣренно выражать свое «да», въ отвѣтственный моментъ, когда «отцы» такъ и сыпали словесными терминами. Маленькое хронологическое несовершенство становится завязкой большой жизненной трагедіи большого человѣка. И тѣмъ труднѣе объяснить Бѣлаго и въ критеріяхъ «старого» и въ критеріяхъ «новаго» — въ немъ схватка враждующихъ эпохъ въ душѣ, онъ — «ножницы межъ столѣтіями» и понимать его надлежитъ, именно, въ проблемѣ «ножницы».

Если исторія душевной и духовной жизни Андрея Бѣлаго есть исторія великаго неудачника (котораго по счету въ русской литературѣ?), есть перечень грандіозныхъ замысловъ и, увы, менѣе грандіозныхъ свершеній, то все же внѣшняя сторона біографіи Бориса Николаевича Бугаева исключительно блестяща. Сынъ декана Московскаго Университета, математика съ мировымъ именемъ — онъ съ первыхъ дней жизни, съ «пеленокъ» знакомится съ цвѣтомъ интеллигентской, профессорской, литературной Россіи. Въ его новой книгѣ одинъ за другимъ проходятъ обычные посѣтители дома Бугаевыхъ, друзья его отца: здѣсь физикъ Умовъ, статистикъ Янжулъ, зоологъ Усовъ, Н. И. Стороженко, Танѣевъ и Джаншиевъ, Лопатинъ и Гротъ — всѣхъ не перечислить.

«Отъ нѣсколькихъ толстовскихъ субботъ у меня создалось впечатлѣніе, что это выставка спѣси и легкомысленнаго болтанія Софьи Андреевны о «великомъ», но смѣшномъ мужѣ, точно онъ — выставочный предметъ, на который

сбѣжались глазѣтъ, но который для нее предметъ домашняго обихода. И потому, когда «великій» показывался въ гостиной, дѣлалось отчего-то всѣмъ стыдно: вѣроятно, болѣе всего ему.

Характеристика достаточно жестокая, чтобы оцѣнить толстовское окруженіе... Такого же тона и другія наблюденія Бѣлаго. Какъ въ домѣ Толстого, такъ и всюду кругомъ себя видитъ Бѣлый эту давящую, замыкающую, снижающую обстановку. Каждый въ отдѣльности, въ рабочемъ кабинетѣ своемъ — очень значителенъ, но взятые вмѣстѣ... задыхались (иные безсознательно) въ квартирахъ, точно въ картонныхъ коробкахъ; въ гостинныхъ, пропитанныхъ ограниченностью кругозора, предвзятостью, статикой, рутинной, мыслью о томъ, что еще скажетъ всемогущая и таинственная «княгиня Марья Алексѣвна». Нигдѣ не было мѣста тревогѣ и бытовавшая пыль столь плотно осѣла на домахъ и на людяхъ (... на душахъ!), что будущее продолжало мерещиться спокойной идилліей; что сдвигъ сознанія, вкрадывавшійся въ «дѣтей рубежа» принимался едва ли не какъ нѣкая вычурная поза, а символизмъ все еще оцѣнивался съ точки зрѣнія скандала, мистической «чепухи».

Только для Соловьевской квартиры (да, можетъ-быть, и въ отношеніи Л. И. Поливанова, своего гимназическаго директора, научившаго его по настоящему любить Эсхила, Шекспира, Пушкина), этой колыбели російскаго нищестя, нашлись у Бѣлаго теплыя краски. По его описаніямъ здѣсь былъ его отдыхъ. Для него это былъ оазисъ: иная царила тутъ атмосфера, тутъ зарождалось ощущеніе новаго быта.

Безспорно Бѣлый сгущаетъ краски.

Его описанія исторически спорны, но оправдываемы эстетически. Но — надо сознаться — во многомъ правда оказалась на его сторонѣ и только сегодня видно, какъ непрочно были идеология «тверскихъ земствъ» и благополучіе спенсеровской эволюціи. Въдѣ «...правда «рубежа» и поколѣнія «рубежа» ждетъ изслѣдователей, а задача лицъ, принадлежащихъ къ этому поколѣнію, — подать матеріалъ для суда пусть суроваго, но правдиваго...» (стр. 488).

Это задача будущихъ безпристрастныхъ историковъ. Матеріалъ имъ данъ исключительный.

А. Бахрахъ

Ильяздъ. Восхищеніе. Из-во 41^о Парижъ 1930.

Въ настоящее время не принято какъ-то въ эмиграціи подробно останавливаться на достоинствахъ писателя, какъ художника-изобразителя. Скорѣе разсматривается его религиозно-моральное содержаніе и симпатіи критика склонны идти въ сторону менѣе талантливаго произведенія, но болѣе глубокаго. Въ связи съ этимъ поднимается вопросъ о томъ, можно ли вообще хорошо изображать не постигая изображаемаго, и не заключаетъ ли въ себѣ хорошее описаніе весенняго вечера или горныхъ вершинъ столь же глубины, если не больше, чѣмъ прямыя разсужденія на вѣчныя темы. Но въ романѣ Ильи Зданевича (Ильязда) «Восхищеніе» видимо прямо нарочитое нежеланіе погружаться въ разсужденія о происходящемъ, переизбытокъ которыхъ часто превращаетъ романы Пруста какъ бы въ нѣкій «essais». Часто кажется, что